

Кровавые письма выползали из западных ворот императорского города, тянулись вдоль синих каменных ступеней, резных окон и чиновничьих табличек, просачиваясь в каждую трещину. То была не тушь — кровь. Застывшая, теплая, дышащая кровь. Се Линь стоял на высоком помосте Ворот Чэнтяньмэнь, ветер трепал его черный плащ, словно незаспущенное погребальное знамя. Позади него стоял Цэнь Чжао в простых белых одеждах, и старый шрам между его бровей в утреннем свете отливал ржаво-красным.

В городе не осталось императорской стражи. Они не смели прикасаться к тем письмам. Коснешься — руки сгниют; взглянешь — ослепнешь; прочтешь — душа расколется на части.

Но простой народ не боялся.

Старуха скребла стены ногтями, до крови на пальцах, и вшивала соскобленные знаки в детские пеленки; книжник переписывал их угольным прутом, а когда кончился уголь и свиток еще не был завершен, он прикусил кончик языка, обратив кровь в кисть; ткачиха вышивала иероглифы на крышке гроба — стежок за стежком, вышивая: в седьмой год Тяньци наследный престол не сам наложил на себя руки, вышивая: наставник императора выпил яд, а министерство ритуалов сожгло архивы. За одну ночь в тридцати шести областях иероглифы появились на очагах, на гробах, на ночных горшках — чей-то ребенок только что научился грамоте, и его первой фразой стало: они убили его, а потом сказали, что он умер.

Сын Неба пришел в ярость и издал указ сжечь город.

Пожар вспыхнул на Восточном рынке, пламя поглотило три улицы и шесть переулков. Но стоило языкам пламени лизнуть стены, как Цэнь Чжао повел за собой сотню детей летописцев и одновременно поджег «исторический огонь» с южного, северного, западного и восточно-углового направлений.

То было не сожжение книг — то было поминовение истории.

Они поджигали пропитанные тунговым маслом обрывки Кровавого Указа, знаки, вырезанные на обратной стороне медных зеркал, и бамбуковые дощечки из обожженной глины. Языки пламени взметнулись ввысь, пепел посыпался, словно снег, но не рассеивался. Ветер подхватывал пепел, дети ловили его ладонями, старики замешивали в глиняные комья, а ткачихи вплетали в нити основ и утока. Пепел становился новой тушью.

Се Линь повернулся, высоко поднимая в руке глиняную дощечку, только что выкопанную из грязи — прошлой ночью слепой ребенок водил по стене подушечками пальцев, а затем слепил из глины и пепла «Неугасимые кости летописцев».

Голос его не был громким, но звучал подобно колокольному звону, заглушая ревущее пламя, плач и дрожащую волю Сына Неба, запертого в дворцовых стенах:

— Вы переписываете не слова, а жизни живых людей.

Цэнь Чжао стоял позади него, тихо подхватывая слова, словно заранее написанное примечание:

— История никогда не исчезает, она просто продолжает жить иначе.

Подул ветер, пепел закружился в танце бабочек, оседая на разрушенных стенах, на сухих колодцах, на брошенных железных доспехах — тех самых латах, что три года назад принадлежали северному военачальнику, погибшему в ходе так называемого «мятежа». Пепел покрыл его грудь, и на ней проступила едва заметная строка: Довольствие и продовольствие не прибыли, мы погибли не в бою, а от яда.

Среди толпы опустился на колени старый солдат, прижавшись лицом к глиняному пеплу, и беззвучно заплакал.

Се Линь посмотрел вглубь дворцовых стен: там неторопливо выезжала императорская колесница, ее золотое навершие ослепительно сверкало в зареве пожара, подобно клинку. Он внезапно рассмеялся, так, что глаза защипало от жжения.

— Знаешь? — не оборачиваясь, спросил он у Цэнь Чжао. — Когда я впервые читал Кровавый Указ, я думал, что сошел с ума. Я думал, что души мертвецов забрались мне в голову.

Цэнь Чжао тихо ответил:

— Ты не сошел с ума. Ты просто наконец услышал их.

Се Линь поднял руку, кончики его пальцев скользнули по строке на глиняной дощечке — это были последние слова, написанные им кровью перед смертью в прошлой жизни: Если выживешь, живи за двоих.

Он вдруг спросил:

— Сколько человеческих тел ты использовал, ожидая моего возвращения?

Цэнь Чжао не ответил. Он лишь поднял руку и мягко прижал щепотку пепла к ладони Се Линя.

Пепел, словно живое существо, медленно впитался в кожу и плоть, превращаясь в тускло-красный узор — одновременно печать и сердцебиение.

— Неугасимые кости летописцев не сгорят, — прошептал Цэнь Чжао. — Ты пишешь не историю. Ты и есть сама история.

Вдали пожар постепенно затихал. Ветер приподнял в пепле кусок ткани, на котором детской неуверенной рукой было выведено: Се Линь безумец, но то, что он говорит — правда.

Какой-то ребенок указал на дворцовую стену и громко спросил:

— Мама, то, что там написано про отравление наследного принца — это правда?

Женщина долго молчала, крепко прижимая к себе ребенка, и тихо ответила:

— Правда. Поэтому ты должен это запомнить.

Се Линь закрыл глаза.

Он слышал.

Он слышал, как смеются высохшие мертвецы на дне Реки Юйхэ, как шуршат на ветру бамбуковые свитки наставника императора, как в унисон тихо шепчут семьдесят два скелета летописцев.

Он не сошел с ума.

Он просто наконец стал тем, о ком никто не смеет писать открыто, но кого втайне переписывает каждый.

Цэнь Чжао протянул руку и мягко сжал его ладонь.

Узор на ладони горел прежним жаром.

Ветер пронесся мимо, и пепел осыпался снегом.

А Кровавый Указ больше не убивал.

Он стал сердцебиением.

Стал дыханием.

Стал правдой о том, что значит жить.

<http://bllate.org/book/19340/1891116>